
Кристина Киселева
ЦЕНА
РАВНОВЕСИЯ

Кристина Киселева
ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ

https://litres.ru/74836744
SelfPub; 2026

Аннотация

В городе Вельске, где туман стоит столбом, под руслом реки спит Внутреннее — древнее и вечно голодное. Двести лет его отгораживает Завеса, которую держат живые люди — якоря. Плата жестока: за каждое заклинание Завеса берёт кусочек памяти — чужие имена, лица родных, себя.

Изабелла Андреа Маршал, реставратор старой мебели, узнаёт, что она — трибрид: оборотень, ведьма и вампир в одном. Последний якорь, каких не рождалось сто лет. И её будут искать повсюду.

Чтобы удержать Завесу, ей придётся торговаться со счётом и переписывать в серую тетрадь «Личные. Не читать» то, что она ещё помнит. Рядом с ней — сосед Тихон, следователь Влодек и Стая, чинящая то, что не видно. А в тумане ждёт Грав Штейнбах — Гаситель, тот, кто тушит якоря.

Роман о цене равновесия, о памяти, которую нельзя вернуть, но можно защитить, — и о людях, которые пишут свою жизнь карандашом.

Кристина Киселева
ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ

КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА

ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ
роман

Тюмень • 2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Киселева К. А.
Цена равновесия : роман / Кристина Александровна Киселева.
— Тюмень, 2026.

Изабелла Андреа Маршал, двадцать семь лет, — реставратор старой мебели и последний якорь: живой узел, на котором держится тонкая завеса между городом Вельском и голодным Внутренним. За каждое заклинание Завеса берет плату кусочками памяти, и прежде чем Изабелла научится торговаться со счетом, ей предстоит узнать, кем бы-

ла ее настоящая мать, кто таскает покойников из морга Вельски и почему вежливый стук под полом — худшее, что можно услышать в ночи. Роман о цене, которую платят за равновесие, о памяти, которую нельзя стереть, и о людях, которые держатся, даже когда рушится мир.

© Киселева Кристина Александровна, текст, 2026
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста без письменного согласия автора запрещено.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Стул с привидением
Глава 2. Морги без покойников
Глава 3. Дом Травы
Глава 4. Тихон
Глава 5. Кровь за информацию
Глава 6. Часовня без времени
Глава 7. Как прятать якорь
Глава 8. Вода смывает пустоту
Глава 9. Тени на воде
Глава 10. Шлюз и тени
Глава 11. Зеркальная мастерская
Глава 12. Смотровая площадка
Глава 13. Переулок у пекарни
Глава 14. Путь к колодцу
Глава 15. У колодца

Глава 16. Чужое имя
Глава 17. Образы из прошлого
Глава 18. Голос из коридора
Глава 19. Голос города
Глава 20. Мелодия забвения
Глава 21. Призраки прошлого
Глава 22. Отражение, которого еще не было
Глава 23. Цена победы
Глава 24. Лечить, а не резать
Глава 25. Замки из памяти
Глава 26. Голоса прошлого
Глава 27. Следы, которых не было
Глава 28. Полуправда и общая память
Глава 29. Точки единства
Глава 30. Моменты достоинства
Глава 31. Решения, которые меняли все
Глава 32. Точки опоры
Глава 33. Корни города
Глава 34. Голос города
Глава 35. Лицо к лицу
Эпилог. Город, который помнит

ГЛАВА 1

Стул с привидением

Стул вел себя тихо первые два дня, а потом начал дышать. Изабелла Андреа Маршал заметила это в среду вечером,

когда включила в мастерской старую радиолу — для фона, привычка, оставшаяся с детдомовских времен, — и на третьей секунде поняла: шорох идет не из динамика. Он идет от стула. Точнее — от того, чем стул был когда-то, лет сто двадцать назад: венский, гнутые буковые полозья, сиденье перетянуто трижды, и все три обивки угадывались по слою на слою, как годовые кольца. Горох на горохе. Три эпохи, три хозяйки.

Она сняла перчатки и положила ладонь на сиденье.

Дерево было теплое. Не «нагрелось от рук» теплое — поживому, как спина спящего кота.

— Так, — сказала Изабелла вслух, потому что вслух действительно легче. — Ты меня не пугаешь. Ты меня балуешь.

Радиола пережила ее слова и умолкла — не щелкнула выключателем, а именно умолкла, как будто прислушалась. В мастерской на Копанском переулке всегда пахло воском и цитрусовым лаком, а в дождь — речной сыростью, просачивающейся сквозь старую кладку. Сегодня дождь начался в шесть, и к десяти город за окном просел в туман так, что фонари напротив горели размытыми пятнами, как размоченные акварели. Вельск умел и любить туман, и наказывать им: он обнимал кварталы у реки так плотно, что звук трамваев доносился с задержкой, будто город живет на несколько секунд в прошлом.

Изабелла сняла мастерскую шесть лет назад — сразу после того, как умерла приемная мать, — и с тех пор никого

сюда не водила, кроме одного клиента. Заказчика стула звали Барт Райнер, пожилой юрист с руками, из которых левая дрожала мелко, как поющая струна, и с голосом человека, умеющего ждать дольше, чем все остальные.

— Стул моей матери, — сказал он тогда, в сентябре, поставив на верстак фотографию в потертой рамке. На фото — женщина в довоенном платье и этот самый стул, еще новый. — Сделайте так, чтобы он держался еще лет пятьдесят. Я его переживу. Но внучка пусть посидит.

И вот теперь стул дышал.

Шорох повторился — тонкий, как будто кто-то тронул струну внутри сиденья. Изабелла убрала руку и отступила на шаг. Двадцать семь лет работы с деревом, с трещинами, с червоточинами, с пахучими маслами — и ни разу ничего подобного. Столы не дышали. Шкафы не дышали. Мебель не имеет права иметь пульс; на этом держится вся ее профессия, вся ее спокойная, выстроенная вручную жизнь с ровным расписанием и чаем в пять.

— Это клопы, — сказала она. — Или токарка. Или у меня подъездный шум сквозь пол.

Все три объяснения были враньем, и она это знала, потому что теперь, когда она перестала держать руку на стуле, в мастерской началось другое.

Нити.

Сначала ей показалось — пылинки в конусе лампы. Потом она увидела, что пылинок слишком много и что они не

пылят, а тянутся: тонкие, серебристо-лиловые, они расходились от спинки стула во все стороны, гасли в полумраке у потолка и снова проступали, как будто кто-то дышал через них. Одна нить была натянута сильнее других — она дрожала в сторону окна, к улице, и в ее дрожании было нетерпение. Не беззвучное ожидание. Нетерпение чего-то, что ждало конкретного человека. И, кажется, дождалось: нить дрогнула сильнее, натянулась в ноль — как струна перед тем, как лопнуть.

— Нет уж, — сказала Изабелла и отдернула руку.

Нити погасли. Разом, как будто их выключили за шнур.

Она стояла в мастерской еще минуты две, дыша через рот, и ждала, что это пройдет. Мигрень с аурой? Переутомление? Три ночи без сна из-за срочного заказа везти реконструкцию камина для гостиницы «Меридиан»? Не прошло. Вместо этого мир расползся еще немного: Изабелла начала видеть, что воздух в мастерской — не пустой. Он был сетчатым. Между верстаком и стеной, между лампой и полкой с банками воска висела слабая, едва различимая решетка света, и вся эта решетка дрожала в такт чему-то, чего она не слышала — или слышала не ушами.

И в дрожании решетки — она не смогла бы объяснить, откуда это знание; оно просто было, как не забывается родной язык, — было слабое место. Тонкая, неправильно свернутая складка между верстаком и батареей, как шов, прошитый кривой рукой. Как разрез, который старались скрыть.

Изабелла подошла к складке. Постояла. Себя она в этот момент спрашивала: «Ты правда собираешься это сделать?» — и ни один ответ не звучал в ее голове, потому что руки уже пошли сами. Она положила ладонь на складку.

Под полом мастерской, глубоко-глубоко, что-то вежливо постучало. Один раз.

Не по трубе. Не по канализации — она знала все звуки этого дома за шесть лет, она сама меняла прокладки на подводке в марте. Этот стук был не снизу-соседский, не домовый. Он был другой глубины — как если бы по полу постучали не в этом доме и даже не на этом берегу реки. Постучали вежливо. Как стучат в дверь перед тем, как войти без приглашения.

Она отдернула руку так резко, что смахнула банку с кистями. Банка разбилась, но звона Изабелла не услышала, потому что в ту же секунду со двора, с внешней стороны здания, донеслось другое: короткий, птичий, нечеловеческий свист. Как будто кто-то окликнул ее с улицы — но свистел не человек. В этом звуке было что-то от свиста ястреба, что-то от трения ножа о точильный круг, и что-то, самое плохое, — от поцелуя, посланного чужой тетке через дворовую щель, чтобы она обернулась.

Изабелла выключила лампу.

Свет на Копанском переулке гас быстро: фонарь напротив мигнул и умер — не от скачка напряжения, а как будто уступил. В окно стало видно двор и низко, почти по пояс окну,

ползший туман. Он был здесь неправдоподобно плотный. По нему нельзя было судить, есть ли во дворе кто-то живой: туман стоял столбом, не расплываясь, как вода в стакане.

И тогда Изабелла увидела это впервые — то, что потом, через много недель, назовет «слоями», — и не поймет, что видит.

На собственных руках, под слабым светом радиолы — она снова загорелась, как будто ее тоже кто-то окликнул, — проступило свечение. Три вещи, наложенные друг на друга, как три негатива одного кадра. На предплечьях и вдоль вен — тонкая темно-красная сетка, пульсирующая в такт сердцу, слишком медленному для человека. Вокруг кистей — слабая фиолетовая паутина, дрожащая в том же ритме, что и решетка воздуха. И по контуру рук, по линиям ладоней — теплый золотисто-янтарный ореол, похожий на угли под тонким слоем пепла.

Изабелла подняла руку к лицу. Свечение не отражалось в ее глазах, но отражалось в стекле радиолы, и оно смотрело на нее оттуда — не глазами, самим фактом свечения.

— Господи, — сказала она очень тихо. — Я умираю. Так вот как это делается.

В дверь позвонили. Настоящий звонок, обычный, квартирный, скучный. Изабелла вздрогнула так, что ударилась бедром о верстак. За дверью, в тамбуре, кто-то переступил с ноги на ногу, и Изабелла узнала этот ритм — носок, пятка, носок, — узнала так же легко, как узнают голос матери: так с

детства топтал порог Тихон Керваль, сосед по детдому, который умел ждать по-настоящему и никогда не звонил дважды.

Она посмотрела на свои руки. Свечение погасло. Оно гасло, как будто пряталось от чужого взгляда, — и это пугало Изабеллу сильнее, чем свист во дворе.

Она открыла дверь.

— Изабелла, — сказал Тихон. Он был в непромокаемой жилетке службы ливневых сетей, с каской под мышкой, мокрый до колен. В его волосах блестели капли, и на каплях было золото фонаря, и все это было так нормально, так по-земному, что Изабелла чуть не заплакала от облегчения. — Ты занята? Я с ночного. Могла бы потом, да, но... — он запнулся. — Мне надо поговорить. Не по телефону.

— Заходи, — сказала Изабелла, отступая. — Чай?

— Чай, — сказал Тихон и переступил порог.

А из-под пола мастерской, глубоко-глубоко, что-то тихо, удовлетворенно вздохнуло. Один раз. Как будто оно тоже пришло пить чай — и, кажется, уже знало, кого именно оно сегодня навестит.

ГЛАВА 2

Морги без покойников

Анна Маршал всегда знала, сколько у нее покойников, — по-хозяйски, по-матерински, как другая женщина знает, сколько в холодильнике банок с огурцами. Тридцать восемь секций, из них двадцать четыре заняты: девять ожидает

вскрытия, четыре ждет родственников, которые никак не соберутся, один лежит уже три недели при живом племяннике, который каждое воскресенье звонит и обещает приехать. Одиннадцать свободно. Это было утро четверга, и одиннадцать свободных секций означали, что ночь выдалась тихая — ни аварий, ни осенних сердцев, ни запоздалых драк у порта.

Тихая ночь. Анна сняла халат с вешалки, надела его, поправила воротник и открыла журнал учета. Первая строка — время приема. Вторая — номер секции. Третья — фамилия. Она записывала данные однообразно, как писали их двадцать лет, и потому заметила не сразу, а так, как замечают неладное: сначала мимоходом, потом боковым зрением, потом уже всем собой, когда рука остановилась над строчкой.

Четвертая секция была пуста.

Не «пуста» в смысле «освобождена по акту выдачи» — в журнале напротив номеров стояли печати, подписи, даты. Просто секция была пуста, а бумага утверждала, что в ней лежит Герхард Фойт, восемьдесят девять лет, скончавшийся во вторник, и что тело выдано сыну в среду в шестнадцать десять.

Анна взяла ключи и пошла смотреть своими глазами, потому что журнал — это журнал, а секции — это секции, и между ними двадцать лет, которые научили ее не верить первой из них.

Герхарда Фойта не было. Стол был заправлен ровно, про-

стыня лежала аккуратным прямоугольником, из-под которого торчал бирка-ярлык на рейке. Анна потянула простыню — и под ней обнаружила странность, от которой у нее похолодели пальцы. Обычно, когда тело убирают, стол заправляют заново: простыню расправляют, и на ней остаются свежие складки, морщины, неровности. Эту простыню расправляли недавно и тщательно. Но под ней лежала еще одна, нижняя, — и на нижней простыне не осталось вообще ничего. Ни вдавленности, где лежала спина. Ни следов от затылка, от лопаток, от пяток. Гладкий холст, как будто на этом столе не лежал никто — никогда.

Анна стояла, держа откинутую простыню, и ждала, что сейчас за спиной хлопнет дверь и кто-нибудь объяснит ей, что случилось. Никто не хлопнул. Морги умеют быть тихими по-особенному: не пустыми, а выжидательными.

Она вернулась в канцелярию и стала проверять. Пятая секция — Марта Саймс, восемьдесят два года, выдана внучке. Стол заправлен, тело на месте. Шестая — пусто, тело на месте. Седьмая — пусто, тело на месте. Восьмая… Анна отложила ручку, взяла журнал обеими руками, как берут тяжелое, и перечитала месяц.

За последние тридцать один день из морга исчезли одиннадцать человек.

Не «исчезли» в криминальном смысле — не вынесли, не подменили, не потеряли. Исчезли так, как исчезает снег с тротуара: незаметно, аккуратно и до последней крошки. Все

одиннадцать — люди, умершие от старости. Ни одного моложе семидесяти. Ни одного с травмой, с вскрытием, с судебным делом. И у всех одиннадцати в графе «кто забрал» стояли подписи — разные, с разными фамилиями, с разными датами, — но почерк был один. Анна узнала это не сразу, а когда разложила листы веером на столе, как карты. Один и тот же нажим. Один и тот же наклон петель. Одна и та же манера выводить заглавную букву слишком длинным начальным росчерком, как будто подписывающий начинает фамилию с размаха и в середине передумывает.

— Доброе утро, — сказали от двери.

Анна не вздрогнула. Двадцать лет в морге приучают к людям, которые входят без предупреждения, — но этот вошел так, что ей все-таки захотелось вздрогнуть, и она зарубила это желание на будущее.

У двери стоял мужчина лет сорока, в сером пальто, которое когда-то было хорошим, а теперь просто было. Волосы темные с проседью, зачесаны так, что видно было, как он их зачесывал, а не как они лежат. Под мышкой — папка. В руке — стакан кофе из автомата, недопитый наполовину, и он держал его так, как держат докладную записку: не для питья, а для дела.

— Северин Влодек, — сказал он и открыл удостоверение так, что Анна успела прочитать только отдел и ничего не успела прочитать про звание. — Служба городской безопасности. У вас вчера ночью была Лидия Херман, секция девя-

тая?

— Вчера у меня было трое, — сказала Анна. — Но вы не по Лидии Херман.

Влодек поднял бровь — маленько, вежливо, с интересом человека, который ловит не первое расхождение.

— Отчего вы так решили?

— Потому что люди, которые приходят по одной конкретной смерти, спрашивают: «Что с ней случилось?» А вы спросили: «Была ли она» — и даже не спросили, а перечислили. Секция девятая, фамилия, время. Вы знаете, что она была. Вы проверяете, что я знаю, что она была.

Секунд пять в канцелярии было тихо. Пахло формалином, старой бумагой и, сквозь щель под дверью, ноябрьской сыростью с улицы.

— Мне нравится с вами разговаривать, госпожа Маршал, — сказал Влодек. — Обычно это занимает недели.

— А вы знаете, как меня зовут.

— Я знаю, сколько у вас покойников, — сказал Влодек и сделал глоток кофе, хотя, показалось Анне, кофе в стакане не стало меньше. — Косвенно. Сколько у вас сейчас занято секций?

— Двадцать четыре.

— А по журналу сколько должно быть?

Анна молчала. Влодек кивнул, будто она ответила, отошел от двери и посмотрел на стеллаж с журналами — не на текущий, на старые. Потом на нее.

— Тридцать один день, — сказал он. — Одиннадцать тел. Все от старости, все до семидесяти, все со «справкой о выдаче», подписанной разными людьми одним почерком. Я семь недель собираю это по городу: больницы при порте, хоспис на Заводской, частный пансионат «Тихая заводь» — оттуда, между прочим, двое. И нигде, — он поднял палец, — нигде нет камеры, которая зафиксировала бы, как тело выносят. Везде, где камеры стоят, запись есть, вынос тела есть, а тела на записи нет. Люди в масках входят. Люди в масках выходят. В руках — ничего.

— Вы говорили об этом с начальством?

— Я говорю с вами, — сказал Влодек ровно. — Начальству я доложил о «сбоях учета». В бумаге это выглядит гораздо благороднее, чем «морг без покойников».

Он допил кофе одним движением — так, что показалось: стакан был пуст изначально, — и положил его на край стола, дном вверх, как закрывает счет игрок.

— Последнее, госпожа Маршал. Не отвечайте, если не хотите. Одиннадцатый — это тот, про кого вы еще не написали в журнал, верно? Тот, кого вы обнаружили сегодня утром. Герхард Фойт. Вы пока не уверены, что хотите, чтобы его не стало в вашем учете, — потому что пока он есть, это изъян в книге. А когда его не станет, изъян будет не у вас.

Анна смотрела на него поверх журнала и думала о том, что этот человек за семь недель понял больше, чем она за одно утро, — и сказал об этом вслух, спокойно, как о погоде.

Значит, он либо уже побывал во всех моргах города, либо…

— Вы забираете этот стол? — спросила она вместо ответа. — Стол девятой секции. Он останется. Его надо отдать на экспертизу.

— Экспертиза найдет, что стол чистый, — сказал Влодек без тени удовлетворения. — Микрочастицы, эпителий, волокна. Все «утрачено при санобработке». Я уже отдал такой стол в прошлом месяце. Соколова, секция двенадцать. Мне вернули протокол на четырнадцати страницах, где чистота описана как достижение.

Он подобрал папку с пола — она лежала у двери, и Анна была уверена, что он нес ее под мышкой, — и направился к выходу. На пороге остановился, не оборачиваясь.

— Копенский переулок, — сказал он. — Дом семь. Там в среду вечером погас фонарь. Не перегорел — погас. Соседи сверху говорили, что перед этим у мадам Гелены Моот полчаса «звенело в ушах», а она глухая, как табуретка, и на ухо не жалуется никогда. А еще там внизу живет мастер, которая реставрирует мебель. — Влодек повернул голову: не все лицо, только профиль. — Мне не нужна ее вина. Мне нужно знать, что она видела. Передайте ей, пожалуйста, что иногда полезно рассказать человеку в сером пальто то, что кажется несообразным. Он не посмеется. Он уже видел хуже.

И он ушел, оставив в канцелярии запах дешевого кофе и ощущение, что в журнале учета отныне ведется вторая, невидимая колонка — с фамилиями, о которых еще никто не зна-

ет.

Изабелла проснулась в полдень от того, что в мастерской пахло не чаем.

Она уснула за столом — Тихон ушел незадолго до рассвета, напившись чая и не сказав почти ничего, только: «Мне надо показать тебе одно место. Не сегодня. Когда сама поймешь, что готова». Подзорева за столом, она сварила себе кофе, но запаха кофе в мастерской не было. Пахло лаком, воском, дождем — и еще чем-то тонким, зеленым, как раздавленный стебель полыни.

Изабелла обернулась.

Стул стоял на своем месте, у окна, где она его оставила. Радиола молчала. Нити не было. Но на сиденье, на гладко отполированном дереве, которое она два дня назад зашкуривала и покрывала первым слоем воска, лежал предмет.

Простая круглая пуговица. Костяная, пожелтевшая, с четырьмя дырочками, потертая по краям — как пуговица, которую столетиями трогали большими пальцами, застегивая и расстегивая.

Она не принадлежала ни одной из трех обивок стула — ни гороху, ни клетке, ни вишневому бархату. Изабелла подняла ее, положила на ладонь и поняла две вещи сразу, без всякой магии, обычной человеческой логикой. Первое: пуговица лежала там, где ночью сидел Тихон, — и никто не входил в мастерскую после того, как за ним закрылась дверь. Второе: она видела эту пуговицу раньше. Не на стуле. Не в

мастерской. На фотографии в потертой рамке, которую Барт Райнер поставил на ее верстак в сентябре, — на груди женщины в довоенном платье, у самой руки.

Изабелла посмотрела на окно. За окном, в десятом часу дня, туман стоял столбом — не рассеивался, не редел, как будто город держал его нарочно, как держат за дверью собаку, пока не решат, кого впустить.

А потом позвонил телефон. Не мобильный — старый аппарат на стене, который она подключала «для клиентов» и по которому звонили четыре раза за шесть лет, и три из них — с баланса автосервиса.

— Изабелла Андреа Маршал? — спросил мужской голос, вежливый и глубоко усталый. — Говорит Влодек. У меня к вам вопрос, на который я, кажется, уже знаю ответ, но мне нужно, чтобы вы его сказали. Вы видели эту пуговицу раньше?

ГЛАВА 3

Дом Травы

— Изабелла Андреа Маршал? — спросил мужской голос в трубке. — Говорит Влодек. У меня к вам вопрос, на который я, кажется, уже знаю ответ, но мне нужно, чтобы вы его сказали. Вы видели эту пуговицу раньше?

— На фотографии, — сказала Изабелла. Она хотела солгать и не смогла: голос сам лег в правду, как ключ в замок, смазанный с прошлого раза. — На груди женщины на фото-

графии. Клиент показывал ее в сентябре. А сегодня пуговица лежала у меня на стуле. На том самом стуле.

В трубке было тихо четыре секунды. Потом Влодек сказал:

— Благодарю. Вы очень помогли. И вот еще что, госпожа Маршал: если в ближайшие дни к вам придет пожилая женщина и станет говорить вещи, которые вы сочтете несообразными, — не гоните ее. Она не сумасшедшая. Она старше, чем кажется, и вежливее, чем выглядит. У вас на пороге сейчас кто-нибудь стоит?

Изабелла посмотрела на дверь. Она не слышала шагов — но чувствовала, как и в мастерской с нитями, что воздух у двери стал другим. Плотнее. Как будто за ним стояли и ждали, пока закончится разговор.

— Кажется, да, — сказала она.

— Тогда кладите трубку, — сказал Влодек. — И пейте с ней чай. Это важнее, чем вы думаете. Люди, которых угощают чаем, соглашаются на правду раньше, чем на ложь.

Он отключился первым — так, как отключаются люди, у которых за плечами много разговоров и мало времени.

Изабелла положила трубку на рычаг. Постояла. Подошла к двери и открыла ее, не спрашивая и не целясь глазом в глазок, — просто открыла, как открывают дверь, которую давно ждали.

На пороге стояла старуха.

Маленькая, сухая, в плаще цвета мокрого асфальта и в шапке, которая была когда-то рыжей, а стала цветом старой

меди. На плече у нее висела холщовая сумка, из которой пахло — сильно, определенно, домово — полынью, чабрецом и чем-то сладковато-гнилым, как осенние опавшие яблоки в траве. Лицо старухи было морщинистое и насмешливое, глаза — светло-серые, почти белые, и смотрели они на Изабеллу не снизу вверх, как смотрят на высоких, а ровно, как смотрят на равных.

— Чайник ставь, — сказала старуха. — Разговор будет долгий, а я с ночи на ногах. Гедда Ранохведь я. А ты, — она прищурилась, и серые глаза вдруг стали похожи на два полумесяца, — ты, выходит, Андреа.

— Изабелла, — сказала Изабелла. — Изабелла Андреа.

— Знаю, — сказала Гедда и прошла мимо нее в мастерскую, как проходят мимо вешалки в собственном доме. — Твоя бабушка звалась Андреа, а тебя назвали в ее честь, только переставили со второго имени на первое, чтобы никто не догадался. Твоя мать была не глупая. Жаль, что она не успела тебе ничего рассказать.

— Моя мать умерла, когда мне было четырнадцать, — сказала Изабелла. — Анна Маршал. Медсестра.

— Та, что тебя растила, — сказала Гедда без тени извинения. Она уже стояла у верстака и смотрела на стул. Смотрела долго, не трогая. — А та, что тебя родила, звалась Серафиной, и была она последней из рода Маршал до вчерашнего утра. Здравствуй, Ткачиха.

Изабелла не ответила. Она стояла у двери и чувствовала,

как пол качается под ногами — не по-настоящему, не физически, а так, как качается земля, когда весь остальной мир решает, что он знает о тебе что-то, чего не знаешь ты.

Гедда тем временем села на табурет у верстака — привычно, как будто табурет ждал ее шесть лет, — и поставила сумку на пол.

— Ставь чайник, я сказала, — произнесла она. — И садись. Расскажу я тебе сказку, а ты не перебивай, потому что сказка эта длинная и ее уже двадцать лет некому рассказывать.

Чайник закипел. Изабелла поставила на стол две чашки — старые, с отбитыми краями, которые она держала «на всякий случай» — и поняла, что Гедда их выбрала не случайно: старуха смотрела на отбитые края с явным одобрением, как бухгалтер на сходящуюся смету.

— Город этот зовут Вельск, — сказала Гедда. — Стоит на реке. Река мелкая, злая и старая — старше города на тысячу лет, и город этого не знает, а река знает. Под ее руслом, на глубине, где уже нет рыбы и не бывает людей, лежит то, что мы зовем Внутренним. Не «потусторонний мир», не «загробная жизнь» — Внутренний. Как погреб. Как подвал под подвалом. Там живут древние. Не духи, не боги, не черти из твоей воскресной школы — древние. Они старше слова «бог» и потому в него не помещаются. Они голодные, Изабелла. Всегда. Это их природа, как у воды — мокрость. Они не злые. Злость — это человеческое. Они просто едят. И то,

что они едят, — это нас. Не мясо, не душу в твоем понимании. Память. Тепло. Имена. Чувство, что ты — это ты. Они едят человека изнутри, и от человека остается пятно на асфальте и тишина в комнате.

Она отпила чаю. Чашка в ее костлявой руке не дрожала.

— Двести лет назад, — продолжила Гедда, — трое поняли, что воевать с Внутренним нельзя — его слишком много, а нас слишком мало. Но и пустить нельзя. И тогда они сделали Завесу. Тонкую, как мысль, и прочную, как привычка. Завеса — это не стена, Изабелла. Стену можно обойти. Завеса — это правило. Правило, которое говорит Внутреннему: здесь уже занято. Но правило, чтобы оно держалось, нужно, чтобы его кто-то держал. И держат его не заклинаниями — заклинания стираются. Держат его живые люди, в чьей крови смешаны все три силы: ведьмин жезл, вампирская вязь и звериный круг. Три огня в одном очаге. Их зовут якорями. Их было всегда немного — трое, семеро, десять. Они стоят, как сваи под мостом: никто их не видит, а весь мост стоит на них.

— И что с ними происходит? — спросила Изабелла. Голос у нее был ровный, и это ее саму удивило.

— А вот это и есть сказка, — сказала Гедда мрачно. — Слушай дальше. Якорь — это не должность, Изабелла. Это батарейка. Завеса ест из якоря то, чего в нем больше всего. А в тебе больше всего человеческого — потому что ты из всех трех родов, и все три силы в тебе борются за право на-

зываться главными, и человечность — это то, на чем они договорились. Поэтому Завеса ест твою человечность. По кусочку. Сначала отъедает эмпатию — ты перестаешь чувствовать чужие лица. Потом сны — ночь становится пустой, как выключенный экран. Потом память — не всю, по кускам, по слою в год, по воспоминанию за заклинание. А когда съедено все — якорь гаснет. Дотла. И остается от него ровно ничего, и Город ставит на его место следующего, потому что мост должен стоять.

В мастерской было тихо. Радиола не играла. За окном стоял туман, и где-то далеко, у реки, кричала птица — коротко, недовольно, как кричат те, кого разбудили раньше срока.

— Моя мать была якорем, — сказала Изабелла. Это не был вопрос.

— Твоя мать была якорем, — подтвердил Гедда. — И отец твой был якорем. Серафина Маршал и Люциан Маршал, две сваи под одним мостом. Двадцать лет назад, во время той беды, о которой в городе говорят «авария на водозаборе», Завесу тронули изнутри. Три сваи сгорели за одну ночь. Люциан — твой отец — был первой из них. Он не умер, Изабелла. Хуже. Он растворился. Когда якорь гаснет дотла, его не хоронят, потому что хоронить нечего. Его растворяют в Завесе — так старая стена впитывает воду. Часть его сейчас держит мост. И я, — голос Гедды дрогнул впервые за весь разговор, — я подписала бумагу, по которой его растворили. Не я одна. Нас было трое подписавших, и двое из нас теперь

мертвы, и я, пожалуй, самая живая из всех троих, и это худшее из наказаний, какие я знаю.

Изабелла смотрела на нее через стол и не чувствовала ничего. Вообще ничего — ни гнева, ни горя, ни страха. Внутри было тихо и чисто, как в комнате после того, как вынесли мебель. И эта тишина напугала ее сильнее всего, что было до сих пор.

— Почему я ничего не чувствую? — спросила она.

— Потому что оно уже началось, — сказала Гедда просто. — Завеса начала есть тебя в среду вечером, когда ты коснулась того стула. И коснулась того места под полом. Тебя разбудили, Изабелла. Тебя будили двадцать лет, бережно, по капле, чтобы ты не проснулась раньше времени, — а теперь будильник прозвенел, и электричество пошло по проводам, и провода у тебя старые, и пробки уже вылетели. С той минуты, как ты положила руку на складку, ты — действующий якорь. Якорь не может не работать. Как сердце не может не биться.

— А если я откажусь? — спросила Изабелла.

Гедда поставила чашку. Медленно, аккуратно, так, как ставят чашку, когда руки хотят дрожать, а руки не имеют права.

— Тогда Завеса истончится в городе за семь дней, — сказала она. — И на восьмой день Внутренний выйдет наверх. Не войско, не армия — хуже. Голода. Пустые люди с пустыми глазами, которые будут ходить по улицам и есть воспоми-

нания из живых. Я видела это один раз, в девяносто втором, в городе под именем, которое теперь не на картах. Там осталось четырнадцать человек. Я была одной из них, потому что я тогда умела прятаться лучше всех. Спрашивай дальше.

Изабелла спросила не то, что собиралась. Вместо «а сколько у меня времени» у нее вырвалось:

— Что мне будет терять первым?

— Эмпатию, — сказала Гедда. — Уже теряешь. Заметь, как ровно ты сидишь. Час назад я сообщила тебе, что твой отец был растворен живьем, а мать умерла в Завесе, а я — палач обоих. И ты сидишь. Спина ровная, руки на столе, чай не разлит. Человек в этом положении дрожит. Якорь — сидит.

Изабелла опустила глаза на свои руки. Руки лежали на столе ровно. Между ними, на столешнице, слабо проступала и гасла фиолетовая паутина — дышала, как дышит нить накала перед тем, как перегореть.

— Чему вы меня будете учить? — спросила она.

— Тому, как платить дешевле, — сказала Гедда. — Это все, чему я могу тебя научить, Изабелла Андреа. Магию не отменить. Счет не обмануть. Но по счету можно торговаться. Каждое заклинание стоит кусочек тебя, и ты должна решать, какой кусочек отдать, а какой — спрятать так глубоко, чтобы Завеса его не нашла. У якорей это зовется «перепиской». Сядешь — научу. Но сначала я должна проверить, что ты вообще можешь. Дай мне руку.

Изабелла протянула руку через стол. Гедда взяла ее за запястье — сухая, сильная хватка, совсем не старческая, — и закрыла глаза.

Секунд десять ничего не происходило. Потом Изабелла почувствовала, как внутри запястья, под кожей, что-то тонкое тянет — не больно, но неизбежно, как вытягивают нить из клубка. По ее руке, от пальцев к локтю, прошла фиолетовая вспышка — и погасла.

Гедда открыла глаза. В них не было ни удивления, ни торжества. Была усталость.

— Да, — сказала она. — Все три. Жезл, вязь и круг. Полный комплект, каких не рождалось сто лет. Знаешь, что это значит, Изабелла?

— Что я сильная.

— Что ты дорогая, — сказала Гедда без всякой нежности. — Сильное — это то, что делает. Дорогое — это то, что берут. И тебя будут брать, Изабелла, отовсюду: Дом возьмет твою магию, Гнездо возьмет твою кровь, Стая возьмет твою стаю, а Завеса возьмет все остальное. Твоя задача за ближайший год — научиться быть дорогой и не разойтись по актам приема. Теперь первое заклинание. Слушай внимательно, потому что это единственное, что я буду говорить дважды.

Гедда встала, подошла к верстаку и положила ладонь на сиденье стула — на то самое место, где лежала пуговица. Изабелла дернулась было остановить ее, но старуха глянула

через плечо так, что дернуться стало некуда.

— Заклинание, которое я тебе дам, — сказала Гедда, — зовется «узел второй строки». Оно простое: оно позволяет тебе увидеть, что этот предмет держит в себе. Не прошлое, не будущее — держит. Вещи помнят тех, кто их держал, как рука помнит рукопожатие. Это первое, чему учат в Доме, и самое безопасное из всего, что безопасно лишь относительно. Смотри на нить, дыша неглубоко, и говори со мной: «покажись».

— Дышать неглубоко? — переспросила Изабелла.

— Дыши вполглубины, — перевела Гедда раздраженно. — Полный вдох разгоняет нить, и она рвется. Говори: «покажись». Трижды. Тихо.

Изабелла положила руку рядом с рукой Гедды на сиденье стула. Фиолетовая паутина на ее пальцах вспыхнула — ярче, чем когда-либо, — и из нее потянулась к стулу тонкая нить. Изабелла вдохнула наполовину и сказала:

— Покажись.

Ничего.

— Покажись.

Сиденье стула потеплело под ладонью.

— Покажись.

И мир свернулся.

Изабелла видела — не глазами, а чем-то за глазами — как из дерева стула поднялся дом. Не призрак, не картина — дом: кухня, утренний свет, пар над чашкой, женщина с ко-

стяной пуговицей на халате, сидит у окна и смотрит на улицу, где мальчик гоняет обруч по брусчатке. Женщина поворачивает голову — Изабелла видит ее лицо целиком, ясно, до морщинок у глаз — и зовет кого-то по имени. Голос звучит внутри дома, теплый, с хрипотцой:

— Эльза! Иди к столу, остынет же!

И мальчик — Изабелла чувствует это раньше, чем понимает, — мальчик оборачивается. И у мальчика лицо, которое она знает. Лицо, которое видела вчера в мастерской, сидя напротив Тихона, — нет, не Тихона, оно старше, оно другое, но то же самое, что у того, кто приходил к ней вчера во сне, которого она не помнит, потому что она еще не знала, что спала, —

Мир схлопнулся.

Изабелла стояла в мастерской. Рука была на стуле. Гедда держала ее за запястье — держала крепко, изо всех старческих сил, и ее серые глаза были широки.

— Стоп, — сказала Гедда хрипло. — Стоп, девочка. Что ты видела?

— Женщину, — сказала Изабелла. Голос был ровный. Ровнее, чем должен быть. — И мальчика. Она звала его… — Изабелла замолчала.

Пусто.

Не «как будто забыла» — не то ощущение, когда слово вертится на языке и надо подождать. Полная, чистая, вылизанная пустота — как место, где стоял дом, который снесли.

Она помнила женщину: серые волосы, халат, пуговица, окно. Помнила мальчика: обруч, брусчатка, затылок. Помнила, что она их видела. Помнила, что они ей что-то говорили. Но само слово — короткое, двухсложное, теплое, то, которым зовут ребенка к столу, — слово было вырезано. Не стерто, не размыто — вырезано, по живому, как вырезают опухоль, и на месте его осталась чистая, здоровая, гладкая ткань пустоты, в которой даже шрама нет.

— Она звала его… — повторила Изабелла. — Я не помню. Как его звали.

— Эльза, — сказала Гедда тихо. — Звали Эльза. Эльза Штейнбах. Мальчик — ее сын, Грав. Он ходил мимо ее окна с обручем каждое утро, и она каждое утро звала его к столу, и он каждое утро не приходил, потому что был уже не мальчик, а Гаситель, и стол был не для него. Это его мать, Изабелла. Тот стул — из ее гостиной. Тот юрист — ее сын, только не тот, что живет. А ты только что заплатила за то, чтобы увидеть лицо Грава. Первое заклинание — и первое имя с твоего счета.

Она отпустила запястье Изабеллы. Изабелла стояла и смотрела на свои ладони — на место, где минуту назад было имя, которого теперь не было.

— Стой так, — сказала Гедда. — Не двигайся. Сейчас увидишь, что потеряла по-настоящему.

Она подошла к верстаку, выдвинула ящик, достала оттуда лист бумаги и карандаш — не ручку, карандаш, Изабелла

потом поймет почему — и положила перед Изабеллой.

— Напиши имя твоей учительницы музыки, — сказала Гедда. — Из детдома. Которая играла с тобой в четыре руки по средам и пела тебе «Яблоньку» на прощание. Ты говорила о ней Тихону в прошлом году, в ноябре, на крыше.

Изабелла взяла карандаш. Подвела его к бумаге.

Карандаш не двигался.

Она помнила учительницу. Видела — серый кардиган, очки в овальной оправе, запах духов «Красная Москва» и холодные руки, которые раскладывали ее пальцы по клавишам: «большой на до, мизинец на ми». Помнила, как она дышала в затылок, когда показывала педаль. Помнила, что звали ее — но не помнила, как. Как и слово «Эльза» — вырезано, чисто, без шрама.

— Это не первое заклинание, — сказала Гедда, наблюдая за ее лицом. — Это плата за него. «Яблоньку» ты еще помнишь, а имени уже нет. Привыкай, Изабелла. Каждое заклинание — это счет. С каждым разом ты будешь платить дороже, а получать меньше. Пока — имя учительницы музыки. Потом будут имена приемных родителей. Потом — свое. В самом конце ты забудешь, что ты вообще человек, и Завеса скажет тебе «спасибо», потому что якорь, который ничего не помнит, — идеальный якорь. Он не торгуется. Он не жалуется. Он не хочет уйти.

Изабелла положила карандаш. Он покатился по столу и упал на пол — беззвучно, как будто и карандаш здесь умел

молчать.

— Как ее звали, — сказала Изабелла. Не спросила — сказала, очень ровно, глядя в стол. — Мою учительницу. Вы знаете.

— Знала, — сказала Гедда. — Я не записывала. Я старая, Изабелла, у меня и своих имен в излишке, чужие теряю. Напиши ее в блокнот, когда вспомнишь сама. А пока — вот тебе первая заповедь якоря, и она важнее всех заклинаний, которые я тебе дам за всю твою жизнь.

Гедда достала из сумки — из глубины, откуда пахло полынью и яблоками — тетрадь. Простую, в клетку, серую, с обтрепанной обложкой, и на обложке детской ручкой было выведено: «Личные. Не читать».

— Каждое утро, — сказала Гедда, кладя тетрадь перед Изабеллой, — до чая, до работы, до завтрака, до того, как вспомнишь, как тебя зовут, — садись и пиши. Одно воспоминание. Одно живое, теплое, со вкусом и запахом. Любое. Только честно. Это твой внутренний якорь, Изабелла. Завеса ест из внешнего склада — из памяти, которой ты живешь. Но если ты каждую ночь будешь переписывать один клад на другой — у нее будет меньше, чем ты думаешь. Пиши, пока не кончится бумага. Бумагу найдешь.

— А если я не вспомню? — спросила Изабелла.

— Вспомнишь, — сказала Гедда. — Не сразу. Не всю. Но вспомнишь. Якорей, которые не писали, я видела много. Якорей, которые писали, — одного. И он, — старуха помол-

чала, — он единственный, кто дожил до старости и умер в кровати, с роднею вокруг. Правда, умер он не человеком, а чем-то, что было когда-то человеком и смотрело на родню как на мебель. Так что не обольщайся. Переписка продлевает. Но не спасает.

Она встала. Расправила плащ. Подобрала сумку, и сумка пахнула полынью так сильно, что у Изабеллы закружилась голова.

— Стой-ка, — сказала Гедда, уже у двери. — Одно еще. Я буду приходить по вторникам. Не спрашивай, почему по вторникам. Узнаешь позже. А теперь — про то, что тебе не понравится.

Она обернулась. Серые глаза в полумраке мастерской были почти белыми — два полумесяца, два узких лезвия.

— За тобой уже начали ходить, — сказала Гедда. — Не люди. Тот, кто пустой. Я чую его след в твоей мастерской — слабый, вчерашний, но свежий, как сырость на кладбище. Он еще не решил, что с тобой делать. Он пробует. Так что запри дверь. Спи со светом. И когда услышишь под полом вежливый стук — не отвечай. Никогда не отвечай тому, кто стучит вежливо. Вежливость — это то, чем Внутренний прикидывается, когда голодает.

Она вышла.

Изабелла осталась одна. В мастерской пахло полынью, воском и дождем. Стул стоял у окна. На сиденье, где только что лежали две ладони — ее и Гедды, — фиолетовая паутина

медленно гасла, дышала и гасла.

Изабелла открыла серую тетрадь. На первой странице детским почерком было выведено: «Личные. Не читать». Почерк не был ее — это был почерк Геда. Или почерк другого якоря, который писал здесь до нее, двадцать лет назад, в ночь, когда все сгорело.

Изабелла взяла карандаш с пола. Подточила его о край верстака — обычным бытовым жестом, и жест этот был первым за день, в котором не было никакой магии, и от этого он показался ей почти счастливым.

Она вывела первую строку. Медленно, старательно, букву за буквой, как выводят то, что боится потерять:

«Меня зовут Изабелла Андреа Маршал. Мне двадцать семь лет. Я живу на Копанском переулке, дом семь, мастерская на первом этаже. Я реставрирую мебель. Я реставрирую мебель. Я реставрирую мебель.»

Трижды — не потому что забыла, что написала, а потому что написала и перепроверила, что помнит.

Потом запнулась и добавила четвертой строкой:

«У меня была учительница музыки. Она играла со мной в четыре руки по средам и пела мне "Яблоньку" на прощание. Я не помню, как ее звали. Если я когда-нибудь вспомню — пусть эта строчка станет пустой. Пусть она заполнится. Я хочу ее вспомнить.»

За окном туман стоял столбом и медленно, по сантиметру в час, наползал на стекло. Где-то внизу, под фундаментом,

глубоко-глубоко, что-то вежливо постучало — один раз, как вчера.

Изабелла не ответила.

Но рука, державшая карандаш, дрогнула — и на четвертой строке, на слове «вспомнить», осталась маленькая, тонкая, дрожащая запятая, похожая на нить.

ГЛАВА 4

Тихон

Тихон Керваль ненавидел ночные смены у доков не из-за холода. Холод он знал с детства: в детдоме батареи грели только по средам и воскресеньям, и он научился спать, прижавшись спиной к батарее, как к живому существу. Ненавидел он смену из-за тишины. На берегу реки тишина была не пустой — она была занятой. В ней что-то жило и ждало, когда ты повернешься спиной.

В ту ночь он стоял у ливневого люка на углу Набережной и Портовой, проверял решетку — не сорвало ли штормом — и слушал, как река шепчет что-то свое, мокрое и длинное, будто перечитывает список имен. В кармане у него лежала конфета «Мишка» — старая привычка: если станет страшно, надо съесть конфету и подумать о чем-то теплом. Обычно он думал об Ольге, своей матери, которая всегда знала, сколько хлеба осталось в доме и сколько дней можно не покупать новый.

А потом асфальт под ногами вздохнул.

Не скрипнул, не треснул — вздохнул, как вздыхает старый диван, когда на него садятся. Тихон замер, держа решетку за край, и почувствовал, как под подошвой ботинок земля стала не твердой, а мягкой, как тесто, которое еще не успело схватиться.

Он отступил на шаг. И тут увидел труп.

Труп лежал не на асфальте, а как будто в асфальте — наполовину утопленный, будто его вдавило в землю, как палец в пластилин. Мужчина лет пятидесяти, в сером пальто, руки сложены на груди, лицо спокойное, почти сонное, как у человека, который уснул в транспорте и не хочет, чтобы его будили. На груди у него была пуговица — костяная, круглая, с четырьмя дырочками, потертая по краям.

Тихон узнал ее сразу.

Это была та самая пуговица, которую он видел вчера вечером на стуле у Изабеллы. Он не помнил, как заметил ее — просто она врезалась в глаза, как гвоздь в босую пятку: маленькая, старая, но какая-то слишком правильная среди лака и дерева. Он не сказал об этом Изабелле — не потому что хотел скрыть, а потому что боялся, что она решит, будто он сошел с ума.

Теперь эта пуговица лежала на груди у мертвеца, и мертвец лежал в асфальте, и асфальт держал его, как держит воду резиновая перчатка.

— Эй! — крикнул Тихон, хотя кричать не хотелось. — Эй, ты меня слышишь?

Мертвец не ответил. Он вообще не был похож на того, кто должен отвечать. Он был похож на деталь, которую кто-то поставил на место, чтобы проверить, подходит ли она.

Тихон достал рацию. Пальцы дрожали, и он ненавидел себя за это — в ливневой службе не любят дрожащих рук.

— Диспетчер, это Керваль, участок Набережная–Портовая. У меня… — он запнулся, подбирая слово, которое не сделает его сумасшедшим. — У меня нарушение покрытия. И… посторонний объект.

— Какой объект? — голос в рации был скучный, привычный, как голос человека, который слышал все.

— Человек, — сказал Тихон. — Он… он в асфальте.

На том конце помолчали. Потом сказали:

— В асфальте? Ты выпил?

— Я не пил, — сказал Тихон ровно. — Я стою у люка номер семь. Асфальт мягкий. Человек лежит наполовину в нем. Как будто его вдавили.

Рация помолчала еще секунду. Потом диспетчер сказал:

— Сейчас вызову наряд. Оставайся на месте. Не трогай.

— Не буду, — сказал Тихон и положил рацию на край люка.

И в ту же секунду асфальт перестал быть мягким. Он стал твердым — мгновенно, как застывает гипс. И труп исчез.

Не «уехал», не «уплыл», не «провалился» — исчез, как стирают мел с доски. Только пуговица осталась лежать на асфальте, круглая, желтая, с четырьмя дырочками.

Тихон наклонился и поднял ее. Он не хотел, но рука сама потянулась — как тянется к чему-то знакомому, когда вокруг становится чужим. Пуговица была теплой. Не «лежала на солнце» теплой — по-живому теплой, как бывает теплая ложка, которой только что мешали суп.

За его спиной хрустнул гравий.

Тихон обернулся.

На краю тротуара, в тени старого склада, стояли трое.

Один был огромный, с плечами, как у медведя, и с лицом, на котором не было ни одной лишней эмоции — только тяжесть, как у камня, который давно лежит на одном месте и знает, что его не сдвинут. Второй был молодой, нервный, он переступал с ноги на ногу, как будто земля под ним была горячей. Третий — женщина, высокая, с косой, перекинутой через плечо, как ремень винтовки. В ее глазах было что-то, что заставило Тихона вспомнить, как в детстве он боялся собак не из-за лая, а из-за того, как они смотрят — будто уже знают, что ты сделаешь.

— Ты видел, — сказала женщина. Голос у нее был низкий, спокойный, как у человека, который привык, что его слушают. — Ты видел, как он ушел.

— Кто вы? — спросил Тихон. Он не отступил, но и не шагнул вперед. Он стоял между люком и тенью, как между двумя мирами, и не знал, в какой из них ему сейчас безопаснее.

— Мы — Стая, — сказала женщина. — Меня зовут Ярина

Дохлая Луна. Это Вольфгрим, — она кивнула на огромного, — вожак. А это Кербен, — кивнула на нервного. — И мы знаем, что ты видел. Потому что это не первый раз.

— Что не первый раз? — спросил Тихон, и голос у него дрогнул, но он не стал его прятать. Пусть слышат, что ему страшно. Пусть знают, что он не герой.

— Люди, которые уходят в асфальт, — сказала Ярина. — Или в воду. Или в стены. Они уходят, когда Завеса становится тонкой. А тонкая она там, где есть якорь. Ты живешь рядом с якорем, Тихон. С Изабеллой. И ты видишь то, что видят только те, кто рядом.

Тихон сжал пуговицу в кулаке. Металл и кость впились в ладонь, но он не разжимал кулак.

— Откуда вы знаете мое имя? — спросил он.

— Мы знаем все, что касается якоря, — сказал Вольфгрим. Голос у него был низкий, как у колокола, который звонит редко, но когда звонит — все слышат. — Изабелла — Ткачиха. Она держит нити. А ты — тот, кто стоит рядом, когда нити рвутся.

— Я просто работник ливневой службы, — сказал Тихон, и это прозвучало жалко, даже для него самого.

— А мы — те, кто чинит то, что не видно, — сказала Ярина. — Пойдем с нами. Покажешь, где это было.

Тихон посмотрел на люк, на асфальт, на место, где только что лежал труп. Асфальт был ровный, серый, обычный. Как будто ничего не было. Как будто ему приснилось.

Но пуговица в кулаке была настоящей.

— Ладно, — сказал он. — Покажу.

Они пошли вдоль набережной, мимо старых складов, мимо ржавых контейнеров, мимо фонарей, которые горели, но не грели. Тихон шел между Яриной и Вольфгримом, а Кербен шел сзади, как будто прикрывал тыл.

— Зачем вы мне это говорите? — спросил Тихон, когда они свернули в узкий переулок, где пахло рыбой и мокрым железом. — Почему именно мне?

— Потому что ты не побежишь, — сказала Ярина. — Другие, когда видят такое, бегут. Ты остался. Ты поднял пуговицу. Это значит, что ты готов видеть дальше. А нам нужен тот, кто готов видеть дальше, когда станет совсем темно.

— А когда станет темно? — спросил Тихон.

— Уже становится, — сказала Ярина и остановилась.

Они стояли у края доков, где вода была черной и неподвижной, как зеркало, в котором никто не отражается. И в этой воде, на поверхности, плавали тонкие серебристо-лиловые нити — такие же, какие Изабелла видела в мастерской. Они тянулись от берега к середине реки, где вода становилась не водой, а чем-то другим — густым, темным, как чернила.

— Это разлом, — сказала Ярина, глядя не на воду, а на Тихона, будто проверяя, выдержит ли он правду. — Там, под мостом, Завеса тоньше всего. Там Внутренний дышит. И когда он дышит, люди уходят. Не умирают — уходят. Их заби-

рают, чтобы кормить голод.

— Кто забирает? — спросил Тихон.

— Гаситель, — сказал Вольфгрим. — Тот, кто тушит якоря. Его зовут Грав Штейнбах. Он делает так, чтобы Завеса падала. И он уже знает про Изабеллу.

Тихон вспомнил мастерскую Изабеллы, стул, пуговицу на сиденье, ее лицо, когда она смотрела на свои руки и не понимала, что с ними происходит. Вспомнил, как она сказала: «Я умираю. Так вот как это делается». И понял, что она не умирала. Она начинала жить по-другому.

— Мне надо к ней, — сказал Тихон.

— Надо, — согласилась Ярина. — Но сначала ты должен знать: если пойдешь к ней сейчас, ты тоже станешь частью этого. Ты уже стал, когда поднял пуговицу. Теперь ты не просто работник ливневой службы. Ты — тот, кто видел.

Они вышли на Копанский переулок. Дом семь стоял в тумане, как корабль в молоке. Окна были темными, но в одном, на первом этаже, горел слабый свет — как огонек, который держат в ладонях, чтобы не погас.

Тихон поднялся по лестнице и постучал в дверь мастерской. Он не топтал порог, не переступал с ноги на ногу — он постучал ровно, один раз, как стучат, когда хотят, чтобы открыли, но не хотят напугать.

Дверь открылась.

Изабелла стояла в проеме, в старом свитере, с карандашом в руке и серой тетрадью на груди. На ее лице было такое

выражение, будто она только что вспомнила что-то важное и боялась забыть снова.

— Тихон, — сказала она. — Ты рано.

— Нет, — сказал он. — Я вовремя.

Он протянул ей пуговицу, зажатую в кулаке, и разжал пальцы. Пуговица упала ей на ладонь.

— Она была на трупе, — сказал Тихон. — Труп ушел в асфальт. Я видел. И Стая говорит, что это из-за разлома. Что Грав делает это. Что ты — якорь.

Изабелла посмотрела на пуговицу. Потом на Тихона. Потом на тетрадь, которую держала.

— Садись, — сказала она тихо. — Расскажи все. С самого начала.

Тихон вошел. Дверь закрылась за ним. И в тот момент, когда дверь щелкнула замком, под полом мастерской что-то вежливо постучало — один раз.

Ни Изабелла, ни Тихон не ответили.

ГЛАВА 5

Кровь за информацию

Изабелла проснулась от запаха крови.

Не от вида — от запаха: острый, металлический, с примесью чего-то старого, как пахнут ржавые гвозди, пролежавшие в сырой земле. Она села на узкой кушетке в углу мастерской, где спала последние дни, и увидела: на верстаке, прямо по центру, стояла серебряная ложка. Не столовая, не чайная

— маленькая, с узорной ручкой, будто из аптечного набора для микстур. В ложке было что-то темно-красное, густое, и оно не растекалось, а лежало, как желе, удерживаемое невидимыми стенками.

Рядом с ложкой лежал конверт. Плотный, кремовый, запечатанный сургучом с оттиском — на нем Изабелла разглядела переплетенные корни и каплю, похожую на слезу. На конверте было выведено ее имя: «Изабелла Андреа Маршал», почерком, который она не знала, но который почему-то казался ей знакомым — как голос человека, которого ты не помнишь, но которому когда-то доверял.

Она взяла конверт. Сургуч треснул под ногтем легко, будто был не воском, а хрупким льдом. Внутри — одна карточка, тонкая, как папиросная бумага, и на ней — три строки:

«Ложка крови — и ты узнаешь, где Люциан Маршал был в ночь, когда погасли огни на водозаборе. Не магия. Не пророчество. Факт. Встретимся в “Старом якоре” в полдень. Спроси Каспара Уита».

Изабелла посмотрела на ложку. Потом на часы. До полудня оставалось три часа.

Тем временем на другом конце города, у старых доков, Тихон учился видеть то, что не видно.

Ярина стояла перед ним, прямая, как лезвие, и смотрела на него так, будто он был картой, которую она пыталась прочитать.

— Ты думаешь, зрение — это глаза, — сказала она. — А

зрение — это тишина в голове. Когда ты перестаешь думать «это стена», «это тень», «это мусор», тогда ты начинаешь видеть следы.

Они стояли у ржавого контейнера, в тупике, где ветер гнал по асфальту обрывки газет и пыль. Вольфгрим молча сидел на корточках у стены, будто ждал, когда что-то случится, и был готов, что случится именно сейчас. Кербен ходил кругами, как молодой пес, которому хочется все обнюхать, но нельзя.

— Смотри не на предметы, — сказала Ярина. — Смотри на пустоту между ними.

Тихон попытался. Он смотрел на зазор между контейнером и стеной, на щель под ржавым листом, на темный угол, где тень казалась темнее, чем должна быть. И вдруг он увидел.

Это не было формой. Это не было цветом. Это было отсутствием. В углу, у самого пола, воздух не дрожал от ветра. Он был неподвижен, как стекло. И в этой неподвижности было что-то неправильное — как если бы ты шел по улице и вдруг понял, что птицы не поют.

— Там, — сказал Тихон, указывая пальцем, и сам удивился, что голос у него не дрожит. — Там… пусто слишком.

Ярина кивнула.

— Это след, — сказала она. — Не человека. Не зверя. Следы Внутреннего. Они не оставляют отпечатков на земле — они оставляют дыры в мФрее. Как прожженные дырки на

ткани. Здесь кто-то прошел, и ткань не успела срастись.

Вольфгрим поднялся и подошел к углу. Протянул руку — не касаясь, просто на уровне ладони — и воздух там дрогнул, как над горячей плитой.

— Разлом близко, — сказал он глухо. — Он ползет. Вчера был там, — он махнул в сторону реки, — сегодня здесь. Завтра будет у твоего дома, Тихон.

— Почему у моего? — спросил Тихон.

— Потому что ты рядом с Ткачихой, — сказала Ярина. — Якорь — это магнит. Он притягивает разлом, как железо притягивает опилки. И чем сильнее якорь, тем ближе разлом. Изабелла только проснулась, а он уже тянется к ней.

Кербен фыркнул:

— Может, лучше ее спрятать?

— Спрятать якорь — все равно что спрятать маяк в шторм, — сказал Вольфгрим. — Маяк нужен, чтобы корабли видели, где берег. Даже если берег — это смерть.

Тихон посмотрел на угол, на неподвижный воздух, и ему вдруг стало холодно не от ветра, а от понимания: он больше не видит мир как раньше. Теперь он видит дыры.

— Что мне с этим делать? — спросил он.

— Научись их обходить, — сказала Ярина. — И научись видеть, откуда они идут. Это твой путь, Тихон. Ты не Стая по крови, но ты Стая по выбору. Сегодня ты видишь след. Завтра ты увидишь охотника.

В полдень Изабелла стояла у входа в «Старый якорь» —

полутемную таверну у порта, где пахло рыбой, табаком и старым деревом. Хозяин, лысый мужчина с руками, похожими на корни, кивнул ей, будто знал, зачем она пришла, и указал на дальний угол, где за столом сидел человек.

Каспар Уит.

Он не был похож на того, кто торгует секретами. Он выглядел как человек, который привык сидеть в углу и ждать, пока мир сам принесет ему новости. Высокий, худой, с лицом, на котором каждая морщинка казалась продуманной. На нем был жилет из темно-зеленой кожи, а на запястье — тонкий браслет из черного металла, без застежки, будто он вырос прямо на коже.

Перед ним на столе стояла такая же серебряная ложка, как та, что была у Изабеллы в мастерской. Только в его ложке ничего не было.

— Вы пришли, — сказал Каспар, не поднимая глаз от стола. — Значит, вы готовы платить.

— Я пришла услышать, — сказала Изабелла. — Не обещаю платить.

Каспар поднял глаза. Они у него были странного цвета — не серые, не зеленые, а как вода в колодце, где никогда не бывает солнца.

— Платить придется, — сказал он спокойно. — Вопрос лишь в том, чем. Кровь — самый честный платеж. Она не врет. Она помнит.

— О чем она помнит? — спросила Изабелла.

— О том, кто ее дал, — сказал Каспар. — И о том, кому она принадлежала до этого. Кровь якоря — это ключ. Она открывает двери, которые не открываются словами.

— И какую дверь вы откроете? — спросила Изабелла, садясь напротив него.

— Дверь в ночь, когда ваш отец исчез, — сказал Каспар. — Я скажу вам, где он был. Не «в городе», не «у реки», не «на мосту». Конкретное место. И скажу, с кем он говорил за пять минут до того, как погасли огни.

Изабелла почувствовала, как внутри у нее что-то сжалось — не от страха, а от надежды. Надежда всегда сжимает сильнее страха.

— А взамен? — спросила она.

— Ложка вашей крови, — повторил Каспар. — Не капля. Не след на салфетке. Ложка. И вы должны отдать ее сами. Не я возьму. Вы положите.

— Зачем вам? — спросила Изабелла.

— Мне не нужна кровь, — сказал Каспар. — Мне нужно, чтобы вы поняли: цена высока. Чтобы вы не думали, что это просто слова. Чтобы вы знали: за каждое знание приходится платить чем-то настоящим.

Изабелла посмотрела на пустую ложку на его столе. Потом на свои руки. На них еще оставались слабые следы фиолетовой паутины — она появлялась, когда она касалась стула или вспоминала о нитях. Паутина была почти незаметна, но она была.

— Хорошо, — сказала она тихо. — Но сначала скажите хоть что-то. Хоть одну вещь, чтобы я знала, что вы не лжете.

Каспар помолчал. Потом наклонился вперед, так, что его лицо оказалось совсем близко, и сказал:

— В ту ночь ваш отец был в подвале под старой часовней у реки. Не в самой часовне — под ней. Там есть дверь, которую никто не видит, потому что она нарисована на стене, а не вырезана в камне. И перед тем, как погасли огни, он говорил с женщиной в черном плаще. Ее лицо никто не запомнил, но все запомнили ее голос. Он звучал так, будто шел не из ее рта, а из стены.

Изабелла почувствовала, как по спине пробежал холод. Она знала эту часовню. Бывала там однажды — когда искала старое дерево для реставрации, ей сказали, что в подвале лежат доски, которым сто лет. Она спустилась, увидела дверь, нарисованную углем на кирпичной стене, и подумала, что это чья-то шутка.

— Откуда вы знаете? — спросила она, голос у нее дрогнул.

— Потому что я был там, — сказал Каспар просто. — Не в ту ночь. Раньше. И я видел эту дверь. И слышал этот голос. И я знаю, что за ней.

Изабелла смотрела на него и понимала: он не лжет. Он говорит правду — или то, что считает правдой. И эта правда стоит ложки крови.

— Хорошо, — сказала она снова, громче. — Я дам вам

кровь. Но не здесь. Не сейчас. Я принесу ее туда, где это будет иметь смысл.

Каспар откинулся на спинку стула. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Мудрое решение, — сказал он. — Кровь, пролитая в страхе, ничего не стоит. Кровь, пролитая осознанно, открывает любые двери. Приходите завтра. В это же время. И принесите не просто кровь — принесите понимание, что вы ее отдаете.

Изабелла встала. Она чувствовала себя так, будто только что подписала договор, условия которого не до конца поняла, но уже не могла отказаться.

— Спасибо, — сказала она, хотя слово казалось слишком маленьким для того, что она получила.

— Не благодарите, — сказал Каспар. — Пока не узнаете, что именно вы купили.

Когда Изабелла вышла на улицу, туман уже накрыл город плотным одеялом. Она шла по набережной, и ей казалось, что воздух вокруг нее дрожит не от ветра, а от чего-то другого — как будто мир был натянут, как струна, и кто-то трогал ее пальцами.

На углу Портовой и Набережной она увидела Тихона. Он стоял у старого фонаря, смотрел на асфальт и будто прислушивался к чему-то, чего она не слышала. Рядом с ним никого не было — Стая ушла, оставив его одного учиться видеть.

— Тихон! — позвала она.

Он обернулся. На его лице было странное выражение — смесь страха и восторга, как у человека, который впервые увидел северное сияние и понял, что оно может его убить.

— Изабелла, — сказал он. — Ты не должна ходить одна. Здесь… здесь дыры. Я их вижу.

— Дыры? — переспросила она.

— Пустота, — сказал Тихон. — Места, где мир не держится. Ярина говорит, что они ведут туда, откуда приходит голод.

Изабелла хотела рассказать ему про Каспара, про ложку крови, про дверь в подвале часовни. Но слова застряли у нее в горле. Вместо этого она сказала:

— Пойдем со мной. Мне нужно кое-что проверить.

— Куда? — спросил Тихон.

— К старой часовне, — сказала Изабелла. — У меня есть причина туда вернуться.

Тихон посмотрел на нее долго, будто пытался прочитать что-то на ее лице, чего там не было написано. Потом кивнул.

— Ладно, — сказал он. — Но если мы увидим дыру — не подходи к ней. Обещай.

— Обещаю, — сказала Изабелла. И впервые за день ей показалось, что она говорит правду.

Они пошли вдоль набережной, мимо доков, мимо складов, мимо фонарей, которые горели, но не грели. Туман становился все гуще, и в какой-то момент Изабелла поняла, что они идут не по улице, а по границе между мирами — там,

где асфальт еще был асфальтом, но воздух уже был чем-то другим.

У часовни они остановились. Дверь, нарисованная углем на стене подвала, была на месте. Она выглядела точно так же, как в тот раз — небрежный контур, будто ребенок нарисовал домик. Но теперь Изабелла видела, что линии не совсем прямые. Они изгибались, как вены на руке, и в изгибах этих было что-то живое.

— Вот она, — сказала Изабелла, указывая на дверь.

Тихон подошел ближе, но не коснулся. Он смотрел на линии, и в его глазах отражался свет фонаря — но не обычный свет, а какой-то другой, будто он видел не угль, а что-то за ним.

— Она дышит, — сказал он тихо. — Дверь. Линии шевелятся.

Изабелла подошла ближе. И правда — едва заметное движение, как дрожь на поверхности воды. Линии не были просто рисунком. Они были каналом.

— Кто-то хочет, чтобы ее открыли, — сказала Изабелла.

— Или кто-то хочет, чтобы ее не открывали, — сказал Тихон.

В этот момент из тумана вышел человек. Не из двери — из самого тумана, как будто туман был дверью. Он был в сером пальто, с папкой под мышкой, и в руке у него был стакан кофе, который, казалось, никогда не пустел.

— Госпожа Маршал, — сказал Северин Влодек. — Рад,

что вы пришли сюда сами. Это экономит мне время.

— Вы следили за мной? — спросила Изабелла.

— Нет, — сказал Влодек спокойно. — Я слежу за дверью. Она открывается раз в двадцать лет. В прошлый раз это случилось в ту ночь, когда исчез ваш отец.

— Откуда вы знаете? — спросила Изабелла.

— Потому что я был здесь, — сказал Влодек. — Не как человек. Как наблюдатель. Моя работа — следить за тем, что не должно открываться. И сейчас она снова хочет открыться.

— Кто хочет? — спросил Тихон.

— Тот, кто питается чужими воспоминаниями, — сказал Влодек, глядя не на них, а на дверь. — Тот, кто собирает старые имена и делает из них пищу. Его зовут Грав. И он знает, что вы здесь, госпожа Маршал. Он чувствует, как ваша кровь тянет разлом к себе.

Изабелла вспомнила ложку на верстаке. Вспомнила конверт. Вспомнила слова Каспара: «Кровь якоря — это ключ».

— Значит, — сказала она, — если я дам кровь, дверь откроется?

— Не обязательно, — сказал Влодек. — Но она станет ближе. И Грав станет ближе. Он почувствует, что вы готовы платить, и поймет, что вы слабы.

— Я не слаба, — сказала Изабелла твердо.

— Вы только начинаете, — сказал Влодек. — Слабость — это не отсутствие силы. Слабость — это незнание, как ею пользоваться.

Туман вокруг них стал гуще. Линии на стене задрожали сильнее. И в какой-то момент Изабелле показалось, что за дверью она слышит голос — тихий, настойчивый, зовущий ее по имени.

Но она не двинулась с места.

— Мы уходим, — сказала она, беря Тихона за руку. — Сейчас.

— Мудрое решение, — сказал Влодек, делая шаг назад, в туман. — Возвращайтесь домой. И не давайте кровь просто так. Если будете платить — платите не ключом, а ловушкой.

Он растворился в тумане, оставив после себя только запах дешевого кофе и ощущение, что за ними все еще кто-то наблюдает.

Изабелла и Тихон пошли прочь от часовни, прочь от двери, прочь от голоса. Туман медленно расступался перед ними, как будто не хотел их отпускать.

А на стене подвала линии продолжали дрожать — и становились все четче, будто кто-то дорисовывал их изнутри.

ГЛАВА 6

Часовня без времени

Ночь в Вельске не опускалась — она наливалась, как густая смола, и ложилась на город слоями. Каждый слой был темнее предыдущего, и в каждом слое пряталось что-то, что не хотело быть увиденным.

Изабелла шла к часовне не по тротуару — по кромке, где

асфальт встречался с травой, а трава с тенью. Она старалась держаться там, где граница была четкой: ей казалось, что разлом любит размытое, любит места, где одно перетекает в другое без сопротивления. В кармане у нее лежала серебряная ложка — та самая, из мастерской. Изабелла не собиралась отдавать кровь Каспару. Но она собиралась использовать ее как приманку — как рыболовный крючок, на который цепляют червя, чтобы поймать щуку.

Она не знала, сработает ли это. Но знала, что если она не пойдет сейчас, то завтра будет поздно: голос за нарисованной дверью становился громче, и в нем уже слышались не вопросы, а приказы.

Тихон стоял у фонарного столба на углу Портовой и Копанского, и мир вокруг него был не таким, как раньше. Он не видел просто тени — он видел, как тени задерживаются. Как они не успевают за движением воздуха, будто прилипают к углам, к выступам кирпичей, к ржавым водостокам. И в этих прилипших тенях было что-то голодное.

Он видел, как разлом ползет.

Это было похоже на то, как по воде расходится масляное пятно: сначала маленькая капля, потом тонкая пленка, потом жирный слой, который уже не смывается. Разлом тянулся от реки к часовне, и Тихон видел его следы — не линии, не трещины, а отсутствие дрожания. Там, где воздух должен был колебаться от ветра, он стоял неподвижно, как стекло. И чем ближе к часовне, тем больше таких неподвижных пятен.

Тихон знал, что Изабелла туда идет. Он видел ее тень — живую, дрожащую, настоящую — и видел, как к этой тени тянутся неподвижные пятна, как щупальца.

— Нет, — сказал он вслух, и собственный голос показался ему слишком громким, будто он кричал в пустой комнате. — Нет, не туда.

Он побежал.

Часовня стояла на краю старого кладбища, прижавшись к земле, как человек, который боится, что его заметят. Ее крыша просела, крест на куполе был перекошен, а стены покрылись пятнами сырости, похожими на старые синяки. Дверь в подвал была не у главного входа — она пряталась в боковой нише, за покосившейся оградой, и к ней вела узкая тропинка, заросшая крапивой.

Изабелла остановилась в трех шагах от ниши. На стене, прямо на кирпичах, углем была нарисована дверь. Но теперь линии были не просто черными — они пульсировали. Не сильно, едва заметно, как бьется жилка на виске у спящего человека. Каждая линия то темнела, то светлела, будто дышала.

Изабелла протянула руку.

— Не трогай! — крик раздался раньше, чем она успела коснуться.

Она обернулась. Тихон выбежал из темноты, тяжело дыша, с лицом, на котором страх смешивался с яростью — яростью на себя за то, что не успел, и на нее за то, что решилась.

— Не подходи, — выдохнул он. — Здесь дыра. Большая. Она тебя заберет.

— Я должна, — сказала Изабелла. Голос у нее был спокойный, но рука дрожала. — Там правда. О моем отце. О том, почему все это происходит.

— Правда не стоит того, чтобы тебя съели! — крикнул Тихон. — Ты не видишь, но я вижу: разлом ползет к тебе. Он тянется, как лиана. Еще шаг — и ты окажешься внутри него.

Изабелла посмотрела на стену. Теперь она тоже видела — не линии, а то, что за ними. За нарисованной дверью пространство было не таким, как везде. Оно было глубже. Как будто стена не заканчивалась на кирпичах, а уходила дальше, в бесконечность, и эта бесконечность смотрела на нее.

— Он зовет меня, — сказала она тихо. — Голос. Он говорит, что знает, кто я.

— Это не знание, — сказал Тихон, подходя ближе, но не касаясь ее. — Это ловушка. Они всегда говорят то, что ты хочешь услышать, чтобы ты сделала шаг.

Из темноты, из-за угла часовни, вышли двое. Вольфгрим и Ярина. Они не спешили, но и не медлили — шли так, будто знали, что все уже началось, и теперь важно не скорость, а точность.

— Ты видишь разлом, — сказала Ярина, глядя на Тихона. — Хорошо. Значит, ты готов.

— Готов к чему? — спросил Тихон.

— К тому, чтобы не дать ей войти, — сказала Ярина. —

Потому что если она войдет, разлом заберет ее не сразу. Он будет есть ее по кусочкам, пока от нее не останется только имя. А имя — это ключ.

Вольфгрим подошел к стене. Он не смотрел на линии — он смотрел сквозь них.

— Дверь открывается не рукой, — сказал он глухо. — Она открывается согласием. Пока она не сказала «да», дверь не откроется полностью.

— А если скажет? — спросила Изабелла.

— Тогда мы не сможем ее вытащить, — сказал Вольфгрим. — Даже Стая не может вытащить того, кто сам шагнул внутрь.

В этот момент линии на стене вспыхнули. Не огнем — черным светом, если такое бывает: они стали глубже, насыщеннее, и из них пошел холод, который не имел ничего общего с ночной сыростью. Холод был внутренним — таким, какой бывает в пустых комнатах, где давно никто не живет.

— Он чувствует, что ты здесь, — сказала Ярина. — Грав чувствует якорь. И он хочет, чтобы ты вошла.

Изабелла сжала в руке ложку. Металл был теплым — странно теплым, будто ложка хранила тепло ее крови, хотя кровь еще не была пролита.

— У меня есть приманка, — сказала она. — Кровь. Я могу бросить ее туда, в разлом, и отвлечь его. Пока он будет есть кровь, я войду и все узнаю.

— Ты не понимаешь, — сказал Тихон. — Кровь якоря

— это не еда. Это топливо. Ты не отвлечешь его — ты его разбудишь. Он станет сильнее. И тогда он заберет не только тебя — он заберет весь город.

На стене линии начали двигаться. Они не просто пульсировали — они перестраивались. Из контура двери они превращались в спираль, которая закручивалась внутрь, в глубину стены, и каждый виток спирали был темнее предыдущего.

— Она уже почти открылась, — сказал Вольфгрим. — Еще минута — и она станет настоящей дверью. Не нарисованной.

Ярина подошла к Изабелле. Не близко — на расстояние вытянутой руки.

— Слушай меня, Ткачиха, — сказала она. — Ты хочешь правды. Но правда бывает разной. Бывает такая, которая дает силу. И бывает такая, которая ломает. Сейчас ты стоишь перед правдой, которая сломает тебя. И когда ты сломаешься, Завеса тоже сломается.

Изабелла смотрела на спираль. Она видела, как в центре ее что-то шевелится — не фигура, не лицо, а ощущение присутствия. Кто-то ждал там, за границей стены, и этот кто-то знал ее имя.

— Кто ты? — прошептала она, не обращаясь ни к кому конкретно.

Голос пришел не из стены — он пришел изнутри, как будто прозвучал в ее голове, но не ее голосом:

«Я тот, кто помнит, когда мир был молодым. Я тот, кто знает, что будет, когда он станет старым. Я — Грав. И ты — моя дверь».

Изабелла пошатнулась. Тихон бросился к ней, но не успел — она уже сделала шаг вперед, к стене, к спирали, к голосу.

Но в тот момент, когда ее рука почти коснулась черной линии, Вольфгрим ударил по стене ладонью. Не кулаком — открытой ладонью, как хлопают по столу, чтобы остановить спор.

Стена вздрогнула. Спираль на секунду замерла. И в эту секунду Ярина схватила Изабеллу за руку и рванула назад, прочь от стены, прочь от двери.

— Беги! — крикнула она. — Не оглядывайся!

Они побежали. Тихон бежал рядом с Изабеллой, прикрывая ее с той стороны, откуда тянулись неподвижные тени. Вольфгрим шел сзади, и каждый его шаг был как удар молота — он не просто шел, он забивал разлом обратно в землю, как забивают колышки, чтобы удержать палатку в шторм.

Когда они оказались на набережной, далеко от часовни, Изабелла остановилась. Она тяжело дышала, и слезы текли по ее щекам, хотя она не помнила, когда начала плакать.

— Прости, — сказала она Тихону. — Я думала, что смогу.

— Ты не сможешь одна, — сказал он. — Никто не сможет. Даже якорь — не один. Их всегда несколько. Потому что одному не удержать.

Ярина села на край набережной, свесив ноги над водой.

Вода была черной, и в ней не отражались звезды — будто небо не решалось смотреть вниз.

— Завтра Влодек придет к тебе, — сказала она. — Он расскажет, как можно узнать правду, не открывая дверь. Не бесплатно, конечно. Но цена будет другой. Не кровью. А чем-то, что у тебя все равно отберут, если ты не отдашь сама.

— Чем? — спросила Изабелла.

— Памятью, — сказала Ярина. — Частью памяти. Не всей. Но той, без которой ты станешь слабее. Зато разлом не станет сильнее.

Изабелла посмотрела на ложку в своей руке. Потом разжала пальцы. Ложка упала на асфальт с тихим стуком — как будто вздохнула.

— Пусть лежит, — сказала она. — Я больше не буду пытаться открыть эту дверь. Пока не найду другой путь.

Над городом начало светлеть. Ночь не ушла — она просто отступила, как отступает волна, чтобы набрать силу для следующего удара.

А на стене часовни спираль медленно сворачивалась обратно в контур двери. И линии снова стали просто углем на кирпиче. Пока что.

ГЛАВА 7

Как прятать якорь

Мастерская пахла старым деревом, воском и полынью — Гедда с утра рассыпала сухую траву по углам, будто хотела

вымести из комнаты не пыль, а лишние мысли. Изабелла сидела на табурете напротив старухи, а между ними на верстаке лежала та самая ложка — теперь без крови, просто кусок серебра с узорной ручкой. Гедда постучала по ней ногтем, и ложка звякнула, как будто обиделась.

— Не смотри на нее, — сказала Гедда. — Она шепчет. А ты сейчас должна слышать только меня.

Изабелла послушно подняла глаза. В мастерской было тихо, но тишина эта была не пустая: она вибрировала, как натянутая струна, и каждый шорох — скрип половицы, шелест травы — отдавался в груди.

— Ты думаешь, якорь прячут, как монету в карман, — продолжила Гедда, наклоняясь вперед. Ее светло-серые глаза казались почти прозрачными, будто сквозь них можно было увидеть что-то за спиной Изабеллы. — Но якорь не вещь. Якорь — это дыра в тебе, через которую мир тянет силу. И разлом чувствует эту дыру, как собака чувствует запах мяса. Он не видит тебя — он чувствует, где ты дышишь шФрее, чем надо.

— И как ее закрыть? — спросила Изабелла.

— Не закрыть, — поправила Гедда строго. — Прикрыть. Как ладонью прикрывают свечу, чтобы ветер не задул, но свет все еще пробивался. Если закроешь совсем — Завеса рухнет. Якорь должен работать, просто не должен светиться.

Она встала, подошла к верстаку и взяла моток грубой бечевки — той самой, из которой вязала узлы для своих «пе-

реписок».

— Первое правило: не пытайся спрятать силу. Пытайся спрятать направление. Якорь тянет в одну сторону — к разлому. Значит, надо сделать так, чтобы казалось, что тянет в другую.

Гедда протянула бечевку Изабелле.

— Держи. Не тяни. Просто чувствуй.

Изабелла взяла бечевку. Та была шершавой, теплой, будто впитала в себя руки многих людей.

— Теперь закрой глаза, — велела Гедда. — И вспомни, где в тебе самое сильное. Не гордость, не злость, не любовь — то, что делает тебя якорем. То, из-за чего разлом к тебе тянется.

Изабелла закрыла глаза. И сразу почувствовала это — не как мысль, а как ощущение: в груди было место, которое горело, но не жгло, а тянуло наружу, как магнит. Она знала, что это и есть якорь.

— Чувствуешь? — голос Гедды звучал откуда-то издалека, будто старуха стояла не рядом, а в соседней комнате. — Теперь представь, что от этого места идет нить. Одна. Толстая. Она тянется прямо вверх, к небу, и там растворяется. Это настоящая нить. Ее прятать нельзя.

— А что прятать? — прошептала Изабелла.

— Другие, — сказала Гедда. — Те, что ползут вбок. К реке. К часовне. К местам, где разлом уже прогрыз дыры. Их надо запутать.

Она взяла бечевку из рук Изабеллы и начала вязать узел. Не обычный, а какой-то сложный, с петлями и перекрутами, будто плела не узел, а лабиринт.

— Смотри, — сказала она, когда узел был готов. Он лежал на ладони, темный, плотный, похожий на клубок корней. — Это не просто узел. Это «переписка». Он берет лишнюю тягу и закручивает ее в себя. Пока узел держится, разлом думает, что ты тянешься в другую сторону.

Гедда взяла руку Изабеллы и положила узел ей на запястье, поверх тонкой фиолетовой паутинки, которая иногда проступала на коже.

— Держи, — сказала она. — Не сжимай. Пусть лежит. Теперь дыши. Но не глубоко. Так, будто боишься разбудить кого-то рядом.

Изабелла вдохнула. И вдруг почувствовала, как тяга в груди изменилась. Она все еще была, но стала… рассеянной. Как свет, который падает не лучом, а пятном.

— Хорошо, — кивнула Гедда. — Теперь скажи: где ты чувствуешь разлом?

Изабелла прислушалась к себе. Раньше она чувствовала его как тяжесть, как магнит, который тянул ее к реке. Сейчас тяжесть никуда не делась, но она стала… глуше. Будто кто-то накинул на магнит одеяло.

— Он все еще там, — сказала Изабелла. — Но будто дальше.

— Дальше — это хорошо, — сказала Гедда. — Значит,

узел работает. Но помни: это не щит. Это обманка. Разлом умный. Он поймет, что его водят за нос. И когда поймет — ударит туда, где обманка тоньше всего.

В этот момент дверь мастерской тихо скрипнула. На пороге стоял Тихон. Он выглядел так, будто бежал всю дорогу: волосы взъерошены, куртка распахнута, на щеке царапина, будто зацепился за ветку.

— Там… — выдохнул он. — Там Кербен нашел что-то в доках. Что-то странное. Ярина велела привести тебя.

Тем временем на доках, у ржавых контейнеров, Кербен сидел на корточках и смотрел на предмет, который держал в перчатке. Предмет был похож на камень, но не был камнем. Он был черным, гладким, с прожилками, которые светились тусклым фиолетовым светом — не ярко, а так, будто свет был старым и устал сиять. Форма у него была неправильная, угловатая, будто кто-то пытался вырезать из него куб, но бросил на середине.

Ярина стояла рядом, не приближаясь. Вольфгрим замер чуть поодаль, огромный и неподвижный, как скала.

— Что это? — спросил Тихон, подходя ближе, но не слишком. Он уже знал, что к странным вещам лучше не подходить вплотную.

— Это не вещь, — сказала Ярина. — Это след.

Кербен поднял глаза. В них был не страх, а странное возбуждение — как у мальчишки, который нашел в лесу гнездо и боится спугнуть птиц, но не может отвести взгляд.

— Я нашел его в воде, — сказал он. — У старого причала. Он не плавал. Он лежал на дне, будто его туда положили. Я нырнул — и когда коснулся, он стал теплым. Как живой.

Вольфгрим шагнул вперед и посмотрел на предмет сверху вниз.

— Это осколок, — сказал он глухо. — Осколок разлома. Не сам разлом — его обломок. Как кусок льда, который откололся от айсберга.

— От чего? — спросил Тихон.

— От двери, — сказала Ярина. — От той самой двери в часовне. Когда разлом шевелится, он теряет куски. И эти куски падают в воду. Вода их прячет. Но рано или поздно они всплывают.

— И что с ним делать? — спросил Кербен.

— Ничего, — сказал Вольфгрим. — Пока ничего. Но теперь разлом знает, что мы его видим. И он будет искать того, кто его нашел.

В этот момент к ним подошла Изабелла. Она шла спокойно, но Тихон видел, как напряжены ее плечи. На запястье у нее был узел из бечевки, и он казался странно уместным здесь, среди ржавых контейнеров и темной воды.

— Ты надела обманку, — сказала Ярина, глядя на узел. — Хорошо. Но с этим, — она кивнула на черный предмет, — обманка не поможет. Он сам по себе — маяк.

Изабелла посмотрела на осколок. И вдруг поняла, что он ей знаком. Не как вещь, а как ощущение. Она чувствовала

его так же, как чувствовала разлом, только наоборот: не как притяжение, а как пустоту, которая хотела ее поглотить.

— Это часть Грава, — сказала она тихо. — Не тело. Его сила.

Ярина кивнула.

— Да, — сказала она. — Грав оставляет такие осколки, когда проходит сквозь стены. Они как следы. И если собрать их все, можно найти его логово.

— Или он найдет нас первым, — добавил Вольфгрим.

Кербен осторожно положил осколок в железную коробку и закрыл крышку. Фиолетовое свечение погасло, но воздух вокруг коробки остался холодным.

— Мы отнесем его в Дом Травы, — сказала Ярина. — Гедда знает, как его запечатать. Пока он не зовет Грава.

Они двинулись прочь от доков, оставляя за собой темную воду и тишину, которая теперь казалась не пустой, а настороженной.

А в мастерской Гедда уже готовила место для осколка: раскладывала на столе сухие травы, чертила мелом круги и бормотала что-то на языке, который Изабелла не знала, но который отзывался в груди странным эхом.

Когда коробка была открыта, и осколок положили в центр круга, Гедда посмотрела на Изабеллу.

— Помни, — сказала она. — Прятать якорь — это не про то, чтобы стать невидимой. Это про то, чтобы не быть приманкой. А этот осколок — приманка. И пока он здесь, раз-

лом будет кружить над нами, как ворон над падалью.

Изабелла кивнула. Она чувствовала, как узел на запястье слегка теплеет, будто пытается удержать ее на месте, не дать поддаться притяжению осколка.

— Что дальше? — спросила она.

— Дальше, — сказала Гедда, беря в руки пучок полыни, — мы сделаем так, чтобы этот осколок перестал светиться. И чтобы Грав перестал чувствовать, где мы.

Она подожгла полынь, и дым поднялся вверх, тонкий и горький, и окутал осколок, словно пряча его в сером коконе.

ГЛАВА 8

Вода смывает пустоту

Тихон стоял на краю переулка, где тень лежала не как тень, а как пятно густой краски — она не двигалась, даже когда ветер гнал по асфальту обрывки газет и пыль. Это и была «дыра»: место, где воздух перестал дрожать, будто кто-то выключил в нем жизнь.

Он уже видел такие раньше — после той тренировки с Яриной он стал замечать их повсюду: в углах дворов, под мостами, у старых люков. Но раньше он только отмечал их, как ставят крестик на карте. Теперь он должен был сделать что-то большее.

— Не смотри на пустоту, — сказала Ярина, стоя чуть позади. — Смотри на то, что ее окружает. Вода всегда ищет край. И дыра — это край, которого не должно быть.

Рядом с Тихоном стоял старый эмалированный ковш, наполовину полный дождевой водой. Вольфгрим молча держал его, пока Тихон собирался с духом.

— Просто лей, — сказал Вольфгрим. — Не думай. Не бойся. Вода знает, куда ей течь.

Тихон взял ковш. Вода в нем была темной, почти черной, будто впитала в себя сажу с крыш. Он наклонил ковш.

Струя ударилась о край асфальта и потекла — но не как обычно. Она не растекалась лужей. Она будто нащупывала что-то. И вдруг резко свернула в сторону неподвижной тени, как собака, которая чует след.

Вода коснулась дыры — и та вздрогнула. Не звуком, не движением, а ощущением: воздух там на секунду стал тяжелым, как перед грозой. А потом… потекла.

Пустота начала истончаться. Черная неподвижность пошла рябью, будто по ней провели мокрой тряпкой. Рябь становилась все шФрее, и в какой-то момент дыра просто исчезла — не провалилась, не взорвалась, а смылась, как мел с доски.

Тихон выдохнул. Руки дрожали, но не от холода — от того, что он только что сделал.

— Ты не закрыл ее, — сказала Ярина. — Ты ее стер. Это редкий дар. Не каждый, кто видит дыры, может их смыть.

Вольфгрим кивнул.

— Вода помнит, какой мир должен быть, — сказал он. — А ты помнишь воду. Это и делает тебя нужным.

Тем временем Изабелла сидела на кухне в Доме Травы, напротив Влодека. На столе между ними стояла чашка чая, от которой шел пар, пахнущий не лимоном и не мятой, а чем-то старым, как запах чердака, где годами лежат забытые вещи.

Влодек смотрел на нее спокойно, без спешки, будто знал, что она не уйдет, пока не услышит все до конца.

— Вы хотели знать, почему разлом тянется к вам, — сказал он. — И почему узел Гедды помогает лишь ненадолго.

Изабелла кивнула. Она чувствовала, как бечевочный узел на запястье слегка покалывает — будто напоминал, что обманка работает, но устала.

— Это не только ваша сила, — сказал Влодек. — Это наследие. Якорь не появляется из ниоткуда. Он передается. Иногда по крови. Иногда по выбору. А иногда — по ошибке.

— О какой ошибке? — спросила Изабелла.

— Ваша бабушка, Андреа, — сказал Влодек. — Она была якорем. Сильным. Она держала Вельск, когда разлом в последний раз пытался прорваться — это было в восемьдесят девятом. Тогда город чуть не исчез: люди начали забывать свои имена, улицы меняли расположение за ночь, а река текла вверх по склону.

Изабелла почувствовала, как по спине пробежал холод. Она знала, что бабушка была важной для города, но не знала, насколько.

— Она справилась? — спросила она.

— Да, — сказал Влодек. — Но цена была высокой. Она запечатала разлом под мостом, но сама стала тоньше. Как стекло, которое слишком сильно нагрели. И когда она поняла, что вот-вот треснет, она сделала то, что делают все якоря в такой момент: передала часть силы дальше.

— Передала мне? — спросила Изабелла.

— Не напрямую, — сказал Влодек. — Через вашу мать. Анна знала, что несет в себе часть якоря, но не хотела, чтобы вы стали следующим звеном. Она старалась держать вас подальше от всего этого: увезла из Вельска, не рассказывала о городе, о Доме Травы. Но когда она умерла, связь, которую она держала, оборвалась. И сила, которую она сдерживала, хлынула к вам.

— Поэтому разлом меня чувствует, — сказала Изабелла тихо. — Потому что я не просто якорь. Я — якорь, который не учился.

— Именно, — кивнул Влодек. — Вы — незакрепленный конец веревки. А разлом — это ветер. Он тянет вас туда, где легче прорваться.

Изабелла вспомнила узел на запястье. Вспомнила, как Гедда говорила: «Не прячь силу. Прячь направление». Теперь она поняла, почему обманка — лишь временная мера. Якорь нельзя спрятать. Его можно только научиться держать.

— Что мне делать? — спросила она.

— Учиться, — сказал Влодек просто. — У Гедды. У Стаи. У воды. У города. Вельск помнит вашу бабушку. И он будет

помогать вам — если вы позволите.

В этот момент дверь кухни приоткрылась, и на пороге появился Тихон. Он выглядел уставшим, но в его глазах светилось что-то новое — не страх, а уверенность.

— Я закрыл одну, — сказал он, глядя на Изабеллу, а не на Влодека. — Дыру. Я смыл ее водой.

Изабелла встала и подошла к нему.

— Как? — спросила она.

— Просто лил, — сказал Тихон. — И она исчезла.

Гедда, которая все это время стояла в дверях, хмыкнула.

— Ну вот, — сказала она. — Один прячет якорь, другой смывает дыры. А город все еще стоит. Значит, мы еще не проиграли.

Она подошла к столу, взяла чашку и сделала глоток. Потом посмотрела на Влодека, будто проверяя, не сказал ли он лишнего.

— Но помни, девочка, — сказала она Изабелле. — Знание — это не щит. Оно — груз. Теперь ты знаешь, что сила пришла от бабушки. И знаешь, что мать пыталась тебя защитить. Это будет мешать тебе действовать. Потому что ты будешь бояться стать такой, как они. А тебе нужно стать другой.

Изабелла кивнула. Она чувствовала, что мир вокруг нее стал тяжелее — но и прочнее. Как будто, узнав правду, она перестала быть стеклянной и стала стальной.

— Хорошо, — сказала она. — Я буду учиться.

ГЛАВА 9

Тени на воде

Река в Вельске никогда не текла просто так. Она шептала. И сегодня Гедда собиралась научить Изабеллу слушать этот шепот.

Они стояли на старом деревянном причале, где доски потемнели от воды и времени, а перила держались скорее на упрямстве, чем на гвоздях. Над водой висел туман — не густой, а тонкий, как вуаль, и в нем тени казались глубже, чем должны были быть.

— Не смотри на воду, — сказала Гедда, стоя чуть позади Изабеллы. — Смотри на то, что в ней. На отражение. Но не как на картинку. Как на след.

Изабелла наклонилась над перилами. Поверхность реки была спокойной, почти стеклянной, и в ней дрожали отражения домов, деревьев, неба — но не так, как в настоящем мФрее. Здесь линии были чуть смещены, будто кто-то тихо тянул их в сторону.

— Видишь? — спросила Гедда. — Вода не просто повторяет. Она запоминает. Каждый камень, каждый шаг, каждое слово, сказанное у берега. И когда разлом ползет, вода начинает показывать не то, что есть, а то, что было… или будет.

— Как это? — спросила Изабелла.

— Смотри на тень вон того фонаря, — сказала старуха. — Видишь, как она тянется не вниз, а вбок? Как будто ветер дует не оттуда. Это не ветер. Это разлом тянет время. Он

делает так, что тень помнит другой час — не тот, который сейчас.

Изабелла вгляделась. Тень действительно лежала странно — слишком длинная, слишком острая, будто фонарь был выше, чем на самом деле. И вдруг в этой тени Изабелла увидела что-то еще — не форму, а движение. Будто внутри тени кто-то шел.

— Там… — прошептала она. — Там кто-то есть.

— Нет, — сказала Гедда. — Там было. Или будет. Вода показывает следы. Не людей. А событий. Разлом оставляет их, как сапог оставляет след в грязи, только этот след не на земле — он в отражении.

В этот момент к причалу подошел Тихон. В руках у него была жестяная кружка, наполовину полная дождевой водой.

— Я принес, — сказал он, протягивая кружку Гедде. — Как ты просила.

Старуха взяла кружку, понюхала воду, будто проверяя ее на вкус, и кивнула.

— Хорошо. Теперь слушай. Сегодня ты не просто смотришь, Изабелла. Сегодня ты пробуешь говорить с водой. Тихон покажет как.

Тихон шагнул к краю причала и осторожно вылил воду из кружки на поверхность реки. Но не сплошным потоком — каплями, будто сеял что-то.

Капли упали — и на спокойной глади пошли круги. Но не обычные. Они не расходились ровно. Они будто искали что-

то: один круг резко сворачивал в сторону, другой дрожал, третий вовсе не появлялся, будто вода его проглотила.

— Видишь? — сказал Тихон, глядя не на воду, а на Изабеллу. — Вода чувствует, где пусто. Где разлом оставил дыру. Эти круги — как пальцы, которые нащупывают край.

Он наклонился, опустил ладонь в воду — не погружая, а едва касаясь поверхности, как будто гладил стекло.

— Теперь я не просто вижу дыры, — сказал он. — Я чувствую их через воду. Если дыра рядом, вода становится… не такой. Она будто звенит внутри.

Гедда кивнула.

— Сегодня он попробует закрыть сразу две, — сказала она Изабелле. — Одну здесь, у причала. Вторую — у старого шлюза, в двух кварталах отсюда. Он будет чувствовать их обе через воду. И смывать по очереди.

— А ты, — повернулась она к Изабелле, — будешь смотреть на отражения. И искать следы разлома. Не просто тени. А те места, где тень не совпадает с предметом. Где отражение живет по своим правилам.

Изабелла снова посмотрела на воду. Теперь она видела больше. Не только тень фонаря — но и тень скамейки, которая стояла в десяти шагах от причала, хотя в отражении она была прямо у ног. И тень дерева, которое вообще росло на другом берегу — но здесь оно стояло рядом, будто шагнуло через реку.

— Это все следы? — спросила она.

— Да, — сказала Гедда. — И чем ближе разлом, тем больше таких следов. Скоро отражения начнут показывать не прошлое, а будущее. И тогда ты поймешь: вода не просто помнит. Она выбирает, что показать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.